

---

*Р. Гвардини*

**РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРАЗЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО\***

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

В семи главах этой книги мы хотим рассмотреть религиозное бытие и ту проблематику, с которой мы сталкиваемся на страницах великих произведений Достоевского: романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Я хотел бы предпослать этим главам несколько слов.

Любой исследователь, который пытается вскрыть религиозное содержание творчества Достоевского, неизбежно приходит к выводу, что он должен иметь дело со всем миром писателя, запечатленным в его творчестве. Видимо, здесь нельзя найти ни одного сколь-нибудь значительного персонажа, ни одного эпизода, занимающего важное место в структуре повествования, который не играл бы существенной роли в религиозном отношении, будь то прямо или косвенно. В конечном итоге действия героев Достоевского определяются религиозными силами и мотивами, под влиянием которых и принимаются те или иные решения. Более того: весь мир Достоевского как «мир», т.е. совокупность определенных фактов и ценностей, вся атмосфера этого мира проистекают в сущности из религиозного начала...

Что означает попытка охватить этот мир, мне стало ясно летом 1930 года, когда все мои старания преодолеть сопротивление обширнейшего материала за 85 лекционных часов оказались тщетными. Мир пяти больших романов – да если еще исследователь

---

\* *Gvardini R. Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk. – München, 1964.*

обращается, к тому же, пусть эпизодически, и к другим произведениям писателя – столь грандиозен, что в нем нетрудно утонуть. Куда ни глянешь – повсюду толпятся персонажи, вершатся судьбы, ткнут свою ткань символы... И даже когда по прошествии какого-то срока замечаешь, что определенные мотивы в обрисовке персонажей, определенные формы, преимущественно избираемые писателем для воссоздания отношений и ситуаций, определенные идеи, превалирующие в трактовке мира и человеческого существования, повторяются вновь и вновь, – эти структурные элементы предстают в лучшем случае как дорожные указатели, скупо разбросанные по огромному и бесконечному лесу.

Поэтому мне хотелось бы охарактеризовать здесь путь и последовательность моих поисков, чтобы таким образом можно было более четко распознать связь между отдельными главами этой книги.

Вначале надлежало исследовать представление Достоевского о человеке. При этом оказалось необходимым употреблять привычные психологические понятия – такие как интеллект, интуиция, фантазия, воля, поступок, творческий акт, чувство, страсть, – в гораздо менее определенном смысле, чем обычно, ибо здесь эти проявления даны, очевидно, не в чистом виде, а в сочетании друг с другом, причем в такой мере, что можно успешнее продвинуться вперед, если исследовать не отдельные действия человека, а, так сказать, слои его совокупной сущности: скажем, телесную и абстрактную жизнь, его сердце и душу, жизнь во снах и символах, жизнь духа во всех его проявлениях.

Очень плодотворным оказался далее вопрос, как строится личность в персонажах Достоевского, особенно путем сравнения ее структуры с известной нам структурой западной личности; затем – вопрос о взаимоотношениях личностей между собою, а также о месте отдельного человека в структуре целого. Вызывает изумление, насколько обширны и сложны, насколько подвижны и в то же время эластичны эти личностные построения, дающие ключ к пониманию важнейших компонентов структуры того или иного романа и, более того, проблем воссоздания и потенциального разрушения личности. К этому присовокупилась проблема соотношения различных сфер жизни и культуры. Анализ привел, в частности, к констатации того факта, что в мире Достоевского, по-видимому, вообще не представлены такие основополагающие, стабилизирую-

щие, дающие опору в сфере повседневного существования элементы, как, скажем, труд. В результате этого зависимость людей от судьбы и потусторонних сил кажется особенно сильной.

Затем предстояло вычлениить те основные реалии, которые Достоевский положил в основу воссозданной им структуры бытия, – иными словами: что означают в мире Достоевского природа, мироздание, земля, солнце, деревья и другие растения, животные? Что значит народ? Какова трактовка таких понятий, как мать и дитя, мальчик и девочка? Какими глазами видит писатель взрослого и старика? Знакомо ли ему понятие зрелой личности, и как строит он эту личность? Какое содержание вкладывает он в различные формы несчастий и бедствий – в болезнь, нужду, алкоголизм, душевные страдания, социальное бесправие, глупость, безумие? Что представляет собой зло, т.е. грех, преступление, испорченность, низость и подлость, вплоть до его предельного, сатанинского воплощения? Нельзя было пренебречь и проблемой призрачного, хаотичного...

С этой плоскости взоры обратились далее к простейшим и вместе с тем могущественнейшим феноменам существования жизни, к существованию времени и вечности и явлениям на грани бытия, смерти, преходящести: ничто и кризисные пунктиры существования, прочерчиваемые скукой, усталостью, отвращением, страхом, отчаянием, тупостью, потерянностью...

Наконец, исследование обратилось к ценностям, признанным в мире Достоевского, и прежде всего к самым значимым из них: честь, благородство, искренность, невинность и свобода, любовь, смирение и радость души. К ним присовокупились затем такие высокие понятия, как свет, добро, красота, единение и тишина. Все это венчал вопрос о собственно религиозном содержании романов Достоевского. Он выводит на феноменологию религиозных актов и форм существования общей связи с Богом «взаимообращаемого бытия».

При этом выяснилось, что все перечисленные выше элементы насыщались религиозным содержанием в той мере, в какой повествование обретало глубину, причем в прямой зависимости от их близости к сфере элементарного. Поэтому такие реалии, как солнце, земля, дерево и животное, такие факторы бытия, как радость, болезнь, страдание, такие данности, как жизнь и существование, и даже такие крайние их проявления, как смерть, преходящность и ничто, очень быстро становились насквозь религиозными.

Обилие персонажей, динамичность проблематики осаждали и затуманивали взор; так стала необходимой систематизирующая, связующая линия. Такой линией послужило для меня исследование отношения отдельных персонажей к земле и народу, с одной стороны, и к основным силам бытия – с другой.

Линия этого отношения начинается с людей, которые полностью и почти бессловесно растворяются в связях такого рода. Она ведет далее к персонажам, осознающим эту связь, – к тем, в сознании которых она расчлняется и приводит к конфликтам, и наконец к тем, для которых она перевоплощается в «культуру», не теряя при этом, однако, своей сути. По этому принципу строятся первые четыре главы книги, посвященные вначале «народу» и его отдельным представителям, затем – обеим Соням, далее – «людям Божиим» и в конце концов – Алеше Карамазову.

Сюда же отнесены, однако, и такие персонажи, в которых эта основа оказывается под угрозой, разжижается, искажается, смещается, причем отдельные ее элементы доводятся до крайности, доктринерски заостряются. Уже в первой главе мы столкнемся с определенными преувеличениями и искажениями, доводящими понятия «народ» и «природа» до патологии и язычества. Пятая глава исследует аффект бунта против Бога и нравственного закона и в то же время – феномен демонического в той форме, в какой они выступают в образе Ивана Карамазова и в «Легенде о Великом Инквизиторе». В шестой главе предпринимается попытка определить на примере персонажей из «Бесов», как трактует Достоевский понятие безбожия – от агрессивного отрицания Бога в инженерере Кириллове, склонном считать себя сверхчеловеком, до примитивного негативизма Николая Ставрогина, связанного с феноменом пустоты жизни. В образах этих обеих глав проступает многое из религиозной проблематики нынешнего времени, и я надеюсь, что сумел внести какой-то вклад в его просветление.

Вне этой общей линии остались два персонажа, место которых – не здесь, но которые все же имеют к ней отношение: Настасья Филипповна из «Идиота», – стоящая экзистенциально под знаком совершенства, и наряду с ней – князь Мышкин из того же романа, персонаж, основное назначение которого определяется его отношением к личности Христа. Им посвящена последняя глава.

Этот краткий обзор был необходим для того, чтобы попытка рассмотреть религиозный мир Достоевского в той сжатой форме, которая предопределена размерами этой книги, не показалась безответственной и чтобы читатель убедился в том, что автор этих немногих глав руководствовался в своих размышлениях координатами, очерчивающими достаточно широкий круг проблем.

Что же касается метода исследования, то я стремился предоставить слово самому Достоевскому, сводя воедино как можно больше из речей и жестов его персонажей, из переплетений и последовательности событий в его романах. Поэтому в книге оказалось довольно большое количество цитат, причем многие из них довольно пространны. Однако мне просто не оставалось ничего другого, ибо, как показывал мой скромный опыт, я не мог позволить себе рассчитывать на то, что читатель, руководствуясь одними ссылками на соответствующие страницы, возьмет в руки тома Достоевского и, сравнивая текст с анализом, включится в исследовательскую работу.

Если таким образом я держался как можно ближе к тексту и «добывал» из него все, что только мог, то в то же время я взял на себя смелость отказаться в своей книге от использования литературы о Достоевском, за исключением чисто информационных источников. Из многочисленных и отчасти несомненно значительных исследований творчества Достоевского я прочел совсем мало и постарался во всех случаях сохранить независимость суждений. Если же я черпал из них что-то, то не забывал ссылаться на них. Я ощущал достаточно непосредственный контакт с самими произведениями Достоевского, поэтому подобная самостоятельность казалась мне уместной. С другой стороны, я ни в коей мере не претендую на то, чтобы исчерпать своим анализом предмет исследования, а потому и не чувствую себя обязанным дать критическую оценку работам, посвященным творчеству Достоевского.

## **Глава первая**

### **НАРОД И ЕГО ПУТЬ К СВЯТОМУ**

#### **Народ**

Понятие «народ» служит для Достоевского воплощением всего истинного, глубинного, основного. Народ – это первозданная сфера человеческого бытия, уходящая корнями вглубь истории,

могучая, исполненная величия и достоинства. Вместе с тем народ – это и отдельный человек во всей его беззащитности, несущий на своих плечах груз судьбы, отданный во власть ловкачей и пройдох, страдающий под гнетом сильных мира сего. Но именно поэтому народ – это и та форма человеческого, которая наиболее близка к вечным ценностям и окружена спасительной Божьей любовью. Слово «народ» звучит в устах Достоевского с тем же почтением и трепетом, что и у всех великих романтиков.

Народ стоит у истоков бытия. Он сросся в единое целое с землей – той землей, по которой он ходит, на которой трудится и благодаря которой живет. Он органически включен в общий контекст природы, в циклы света и роста. И он ощущает, быть может, и не умея выразить на словах, вселенную и ее единство.

Несмотря на нищету и греховность народа, именно здесь обитает подлинный человек, обладающий, вопреки всей своей запущенности, здоровым ядром и служащий неотъемлемой частью сущностной структуры бытия, – в то время как образованный человек, «западник», который искусственным образом выбивается из общей связи, лишает себя таким образом опоры и здоровья.

Человек из народа – это элемент той системы кровообращения, того тока совместной жизни, который соединяет воедино семью, общину и человечество. Человек из народа живет всей совокупностью событий, слагающихся в его судьбу. У него нет возможности оградить себя от них, да он и не стремится к этому. Таким образом, его жизнь заполнена основными реалиями бытия, повседневными заботами и простыми, но существенно важными радостями и горестями.

Народ – это прежде всего простой человек, живущий в ладу с самим собой. Он не склонен к анализу. Черпая жизненные соки из своих корней, он просто живет, не мудрствуя лукаво. Его мысли и чувства не абстрактны, а воплощаются в события и образы. Он не следует какой-либо доктрине, а действует, исходя из конкретной ситуации, из условий места и времени. Его инстинкты еще не спутаны, он еще не утратил ориентировки и способности к верным оценкам. Истоки его зоркости пока не замутнены; в его жизни сокрыт символ; он все еще ожидает, что прозрение раскроет ему смысл мира. Он мудр и обладает тем пророческим видением, которое сообщает ему незримые созидательные силы.

Так живет народ, и в нем отдельный человек в ненадломленной реальности бытия, и тем самым он как бы отдан на откуп этому бытию. Он призван нести на себе весь груз существования и не задается вопросом, справедливо ли это. Как бы тяжела ни была жизнь, он воспринимает ее как данность; ему еще не известны уловки, позволяющие избежать этой тяжести. Он просто подставляет ей плечи, и в этом – его величие.

Он относится к страждущим и обремененным. Быть может, ему и свойственна хитрость, но и она не выходит за рамки связанности. В народе живет много злого: наряду с детской веселостью и трогательнейшей добротой ему присущи эмоциональные взрывы, порождающие подчас бессмысленное буйство. Вероломство и непредсказуемая тяга к разрушению, звериная ярость, безжалостная жестокость, беспробудное пьянство, тупость, развращенность – все это характерно для народа, и тем не менее при всем этом – более того, во всем этом народ – «добросердечен как дитя».

В сущности, народ для Достоевского, как и для всех романтиков, – мифическое существо. И хотя тот народ, который он имеет в виду, – это, очевидно, реально существующие люди, за ними вырисовывается, однако, другая сфера, уводящая в существенное, в первозданность, и эти люди становятся «народом» только и именно благодаря тому, что в них проявляется эта другая сфера.

Этот народ близок к Богу.

Во вступительных замечаниях уже указывалось на то, что в мире Достоевского такие основные реалии бытия, как земля и солнце, животное и растение, материнство, жизнь ребенка, страдание и смерть, соотносятся с религиозным. Все они насыщены религиозным содержанием, они означают самих себя и ничто другое. Они служат проявлениями того, как сотворенное сближается и соприкасается с иной сферой, обретая связь с Богом...

Очевидно, народ в особой мере открыт к этой близости. Бог близок ему, ибо он открыто и непосредственно воспринимает главные факторы существования и живет ими в их первозданности, это и ведет к его рабской зависимости от них.

Сформулируем это точнее: согласно такому восприятию Бог не отделился от Своего творения. Религиозное мирозерцание Запада, как кажется, определяется тем постулатом, что Бог создал мир и поставил его в одиночество совершенного так определенно,

что религиозное отношение к Нему определяется дистанцией между миром и Богом. Созданный тоже на расстоянии человек остается, как кажется, один с конечным миром и может стремиться к Богу только через дистанцию, положенную между миром и Богом.

И даже предполагая существование Бога внутри мира, это воззрение – вопреки всем монистическим течениям – вероятно, трактует это «бытие внутри» как новое приближение Бога из Его далека к творению, которое онтически обрело самостоятельность, как заполнение Им этого творения...

Что же касается мира Достоевского, то в основе его не лежит, как представляется, идея «совершенства на расстоянии». Насколько можно судить, ему вообще не свойственно сознание своей отдельности от Бога; напротив, этот мир вне всякого сомнения и с особой непосредственностью ощущает себя пребывающим в деснице Божией. Кажется, что он – в постоянном становлении, что контуры его еще не очерчены, что волею Бога в нем происходит нечто таинственное и что человек, связанный с Богом верой, каким-то образом воспринимает это<sup>1</sup>.

Так возникает некое поле действия Божественных сил, посреди которого и находится народ, который, все еще не изменив своему первоначальному состоянию, просто живет одной жизнью с землей, ею кормится и от нее зависим. Он ощущает во всем Божие творение. Он чувствует тайну происходящего, его близость, его веяние. Он ощущает непроницаемость его загадки, но временами и живительный поток, вспыхивающее пламя и озарение смысла.

Все это, однако, очень далеко как от обожествления природы, так и от пантеизма. Человек Достоевского не преклоняется перед природой и не отождествляет мироздание с Богом. Но из среды непосредственного возникает решение, и оно делает жизнь христианской. Те проявления Божественного в природе, о которых шла речь выше, предопределены Спасением и призваны вызвать к жизни новое творение. Правда, Бог выступает из природы и в жизни, но это определено только через Христа, и именно через Христа Бог призывает человека приблизиться к Нему, выйдя за пределы простой связи с природой. Если же этого не происходит и человек остается в этих пределах, то перед ним предстает уже не творение Божие, а нечто языческое.



Свое мнение об этом Достоевский выразил тем же способом, к которому он обращался и при решении всех других важных проблем, а именно: диалектикой своих персонажей, дополняющих, но и критикующих друг друга. Многие образы романов служат, к примеру, воплощением тех народных установок, о которых говорилось выше; опасности же, которыми они чреватые, раскрывают другие персонажи, превращающие мир и народ Божий в нечто болезненное и злое. Напомним хотя бы о Шатове из «Бесов», этом фанатике народной идеи, для которого Бог становится неким атрибутом «человека из народа», или о Марии Лебядкиной, в чьем сознании Богоматерь и земля сплавляются в языческую «Магна матер», а солнце, символ Бога, источает непомерную печаль Дионисия.

Как же совершается тот «перелом», благодаря которому христианская действительность с присутствующим в ней Богом торжествует над ложной непосредственностью природных связей? Верую во Христа, народ знает, что Он – повсюду: в природе, в повседневности, во всем происходящем. Поучая молодого крестьянина, старец Зосима говорит, что Христос есть и у животных и что птички Его славят. Что бы ни случилось – во всем верующий может распознать волю Божию, волю Христову. Таким образом, бытие сохраняет свою земную реальность, находясь в то же время под величием воли Божией и под покровом Божией заботы.

Функцию осуществления «перелома» берет на себя прежде всего и главным образом страдание. У Достоевского народ страдает невероятно. В сущности, вся его жизнь – сплошное страдание. Но он смиряется с ним, ибо видит в нем волю Божию. И хоть люди проявляют недовольство, а подчас и восстают против подобной судьбы, – это ничего не меняет в основном предназначении народа, благодаря которому чисто природный мир постоянно преобразуется в творение, говорящее христианским языком.

Поэтому «земля», «природа» и «народ» суть не природные, а высвобожденные Спасением реальности, глубинным образом связанные с тем, что ап. Павел именует «новой тварью» и что в его посланиях Ефессянам и Колоссянам сливается воедино с понятием церкви, «**Corpus Christi mysticum**».

Итак, сам образ жизни народа сообщает ему способность воспринимать без труда и слово Откровения. Старец Зосима говорит<sup>2</sup>: «Разверни-ка он им эту книгу и начни читать без премудрых

слов и без чванства, без возношения над ними, а умиленно и кротко, сам радуясь тому, что читаешь им и что они тебя слушают и понимают тебя, сам любя словеса сии, изредка лишь остановись и растолкуй иное непонятное простолюдину слово, не беспокойся, поймут все, все поймет православное сердце!» (Б.К. 342)<sup>3</sup>.

Слово Священного писания рождается из Откровения. И если для того носителя веры, о котором шла речь выше, все бытие есть не что иное, как вечное творение и нескончаемая благая весть, исходящая от Бога Живого, то Слово попадает в родственный Ему мир и находит понимание, даже если ум не вполне охватывает Его. Именно народ, при всем своем невежестве, наиболее восприимчив к Слово Божию: «Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». В этих словах о «жажде слова и всякого прекрасного восприятия» запечатлена та нерасторжимая связь, которая существует между тварным миром и Откровением и которую не уничтожил грех, хоть он и отяготил ее. «Прекрасное» напоминание нам о том, что «благодать», по-гречески – харис, означает также «очарование» и «обаяние» и что христианское сознание считает конечным состоянием и назначением человечества и мира по завершении их пути просветление и торжество вечной красоты, предсказанные Апокалипсисом. Корни этого христианского мироощущения уходят в глубины онтологии бытия. Ему чуждо искусственное разединение слова Откровения и бытия мира – чуждо в той мере, в какой это всегда было чуждо для Востока, считавшего плодами искупления «новую тварь» и «блаженное бессмертие».

Связи эти настолько глубоки, что сам народ становится божественной тайной, в которую надлежит верить. Тот, кто теряет контакт с ним, теряет его и с самим живым Богом – мысль, которая может показаться сомнительной из-за элемента романтики, но которая обретает свое подлинное значение лишь из связи «народа Божьего» и «новой твари» в понимании Достоевского: «Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе». Тот, кому открывается тайна смиренного и исполненного веры существования народа, кто становится свидетелем мистерии творящего и искупительного Божия делания, тот получает доступ и к Самому Богу.

Выше было употреблено слово «романтика». Несомненно, Достоевский был одним из величайших романтиков. Однако его народ не был романтическим созданием в поверхностном смысле слова. Не говоря уж о том, что в его трактовке понятия «народ» присутствуют основные элементы общехристианского мировоззрения, – этот народ не только не идеализирован, но, напротив, изображен предельно реалистически (если, разумеется, не понимать под реализмом ту лишенную покровов, обнаженную действительность, которую сам Достоевский счел бы свидетельством духовной бедности и сердечной скудости писателя). Он видит свой народ во всей его грязи, во всех пороках, опустившимся и невежественным, видит его неразвитость, жадность, ужасающую склонность к алкоголизму... И все же это – «народ Божий».

Это существование как таковое не объявляется святым; в той мере, в какой Достоевский склонен к этому, он становится жертвой своего метафизического панславизма. Но двери, ведущие в святое, открыты всегда и всюду. Везде прослеживается та грань, по другую сторону которой находится Бог. В любую минуту может случиться, что совершенно опустившийся человек, сидящий за очередным стаканом в трактире низкого пошиба, вдруг начинает говорить о Боге и о смысле жизни так проникновенно, что невольно заслушиваешься, ибо в словах его звучит истина... Это возможно только в том случае, если все существование – благодаря той позиции, о которой говорилось выше, – ощущается как непосредственно связанное с Богом.

### **Верующие бабы**

Во всех произведениях Достоевского присутствует народ – безымянное или почти безымянное множество людей. Отовсюду направлены на нас их взгляды, везде мы ощущаем биение их сердец. На фоне этого множества выделяются отдельные лица, которые очерчены отдельно и тем не менее органически вплетены в общую ткань. Мы можем обнаружить их в любом из романов: то слугу, то крестьянина, то мещанина или солдата. Прохожие на улице выступают на миг из толпы, чтобы произнести несколько слов и снова скрыться в ней. Посетители трактиров, рабочие, рыночные торговцы, люди порядочные и опустившиеся, умные и глупые...

Именно такие фигуры, контуры которых ненадолго вырисовываются на безликом фоне, изображены, как нам кажется, с особой художественной силой в начале «Братьев Карамазовых» – там, где народ приходит к своему заступнику и наставнику, старцу Зосиме, в третьей главе первой книги, озаглавленной «Верующие бабы».

Вот к нему подводят кликушу, душевнобольную, которая временами беснуется, визжит или лает по-собачьи. Она – одна из многих. Достоевский пишет, что это «страшная женская болезнь, и, кажется, по преимуществу у нас на Руси, свидетельствующая о тяжелой судьбе нашей сельской женщины, болезнь, происходящая от изнурительных работ, слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов; кроме того, от безвыходного горя, от побоев и проч., чего иные женские натуры выносить по общему примеру все-таки не могут» (Б.К.54–55).

«Безвыходное горе» – непосильный труд, бесправие и угнетение, отсутствие поддерживающей и просветляющей любви, а также какой-либо возможности защитить себя или найти путь на волю, как это может сделать культурная личность, обретающая свободу благодаря своей энергии и изобретательности. Человек полностью отдан во власть горя. Но устами созревшей и раскрепостившей себя личности, мудрость которой порождена любовью, глаголет Бог – и дарует утешение.

Во всем этом нет места каким-либо иллюзиям. Правда, больная успокаивается вблизи старца, мгла рассеивается, но как только она вернется в привычное окружение, все начнется сначала. С человеческой точки зрения, судьба ее безысходна. Но Божие присутствие несомненно... Здесь не идет речи ни о справедливости, ни о достоинстве человека. Он беззащитен перед лицом своей судьбы и не может высвободиться из ее оков – хотя бы путем осознания того, что такой судьбы он не заслужил. И даже если ничто не меняется, если посещение Божьего человека приносит лишь недолгое облегчение, – он ни секунду не сомневается в том, что Бог благ и добр. При всей безысходности своего горя он на протяжении всей жизни сохраняет связь с Богом, воля Которого остается для него непостижимой, но и непогрешимой.

Темный ужас лежит на всем. Но где-то в глубине есть утешение, питаемое обетованием, словно зерно будущего урожая.

Там присутствует еще и другая женщина, к которой обращается старец после кликуши. «— А вот далекая! — указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую и испитую, не то что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было что-то как бы иступленное.

— Издалека, батюшка, издалека, отселева триста верст. Издалека, отец, издалека, — проговорила женщина нараспев, как-то покачивая плавно из стороны в сторону головой и подпирая щеку ладонью. Говорила она как бы причитывая. Есть в народе горе молчаливое и многотерпеливое; оно уходит в себя и молчит. Но есть горе и надорванное: оно пробьется раз слезами и с той минуты уходит в причитывания. Это особенно у женщин. Но не легче оно молчаливого горя. Причитания утешают лишь тем, что еще более растрavляют и надрывают сердце. Такое горе и утешения не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитания лишь потребность раздражать непрерывно рану.

— По мещанству, надоть быть? — продолжал, любопытно в нее вглядываясь, старец.

— Городские мы, отец, городские, по крестьянству мы, а городские, в городе проживаем. Тебя повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали. Сыночка младенчика схоронила, пошла молить Бога. В трех монастырях побывала, да указали мне: “Зайди, Настасьюшка, и сюда”, к вам то есть, голубчик, к вам. Пришла, вчера у стояния была, а сегодня и к вам.

— О чем плачешь-то?

— Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детушки, не стоят, желанный, не стоят. Трех первых схоронила я, не жалела я их очень-то, а этого последнего схоронила и забыть не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку аль на сапожки и взвою» (Б.К.55–56).

Снова человек опутан здесь таким горем, высвободиться из которого ему не могут помочь ни разум, ни воля, ни уровень образования. И как удивительно вникает старец в его существование! Сначала он пытается утешить женщину тем, что младенец-де весе-

лится теперь пред престолом Господним. Она и сама знает это, но не может заглушить неумолимого голоса чувства; утешение не помогает. Тут старец видит, что здесь перед ним нечто неприступное, к чему нельзя прикоснуться: «Это древняя Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет, и таковой вам, матерям, предел на земле положен. И не утешайся, и не надо тебе утешаться, не утешайся и плачь, только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой есть единый от ангелов Божиих, оттуда на тебя смотрит и видит тебя, и на твои слезы радуется, и на них Господу Богу указывает. И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего» (Б.К. 58).

Ничего не изменилось, ибо не может измениться. Но эту неизменную реальность следует подвести к престолу Божию как нечто целое, чтобы она предала себя Ему целиком, до конца. Божественною волею все преобразуется, и сердце само осуществит эти перемены, испытав милость Божию и обретя Бога в любви. Преобразование тяжкого бытия силою любви, живущей в пробужденном Богом сердце, – вот дело верующего народа.

«– Ступай к мужу, мать, сего же дня ступай.

– Пойду, родной, по твоему слову пойду. Сердце ты мое разобрал» (Б.К. 58).

Затем – после старушонки, тревожащейся о своем сыне и уже готовой прибегнуть чуть ли не к колдовству, чтобы получить от него весточку, – самая мрачная из всех фигур:

«А старец уже заметил в толпе два горящие, стремящиеся к нему взгляда изнуренной, на вид чахоточной, хотя и молодой еще крестьянки. Она глядела молча, глаза просили о чем-то, но она как бы боялась приблизиться.

– Ты с чем, роденькая?

– Разрешь мою душу, родимый, – тихо и не спеша промолвила она, стала на колени и поклонилась ему в ноги. – Согрешила, отец родной, греха моего боюсь.

Старец сел на нижнюю ступеньку, женщина приблизилась к нему, не вставая с колен.

– Вдовею я, третий год, – начала она полупшепотом, сама как бы вздрагивая. – Тяжело было замужем-то, старый был он, больно избил меня. Лежал он больной; думаю я, гляжу на него: а коль выздоровеет, опять встанет, что тогда? И вошла ко мне тогда эта самая мысль...

– Постой, – сказал старец и приблизил ухо свое прямо к ее губам. Женщина стала продолжать тихим шепотом, так что ничего почти нельзя было уловить. Она кончила скоро.

– Третий год? – спросил старец.

– Третий год. Сперва не думала, а теперь хворать начала, тоска пристала» (Б.К.59–60).

Еще одно неизбежное горе. Ужас, человека, который в своем отчаянии становится виновным. Толико мыслию, но в этой мысли тоска и уверенность в отверженности. Снова старец ясно видит положение вещей: было бы бессмысленно пытаться расшатать остов этого замкнутого существования, замурованного в неприступные стены судьбы. Любое рассуждение, любая попытка утешить, любой совет, продиктованный поисками выхода, отскочили бы от этих стен. Поэтому он, принимая это существование как данность, указывает на тот исходный пункт, с которого, если будет на то воля Божия, может начаться его преобразование. Речь идет о покаянии:

«Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе – и все Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божию любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божию любовь? О покаянии лишь заботься непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоём любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся. На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце все прости, чем тебя оскорбил, примиришь с ним воистину. Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже Божья... Любовью все покупается, все спасается. Уже коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, кольми паче Бог. Любовь такое бесценное

сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся.

Он перекрестил ее три раза, снял с своей шеи и надел на нее образок» (Б.К.60).

Бытие этого народа потрясает своим величием. А то, что это – действительно величие, а не приговоренная к немоте серость, проявляется в том, насколько властно и по каким путям ведут его за собой мудрость и сила любви – правда, исключительные у этого пастыря человеческих душ. Пути эти предполагают отсутствие иллюзий и в то же время – приятие самой суровой судьбы. Приятие действительное, без героической позы. Но тот, для кого святость означает безусловность существования в вере, увидит здесь ее становление. Что же касается той естественности, с которой трудная повседневность поддается воздействию предельно глубоких и тонких религиозных идей, той прямоты, с которой эти люди постигают суть дела и вступают на указанный им путь, все это возможно исключительно благодаря охарактеризованной выше общей установке народа. Он живет в самой непосредственной связи с землей и с судьбой, но непосредственность ее нельзя понимать в природном или языческом смысле, – равно как и в идеалистической трактовке, согласно которой здесь представлена лишь предварительная стадия истинно человеческого существования, ибо для преобразования подсознательного и интуитивного в подлинную духовность необходима была бы рефлексия. Такова схема, принятая на Западе; Достоевский же боролся именно против применения ее к своему народу, а тем самым – и за человека вообще. Он считал, что «перелом», ведущий от природности или языческой набожности к самой глубинной, духовной связи с Богом, совершается снова и снова – благодаря единению с Христом и восприятию бытия как проявления Божией воли.

### **Язычество**

Выше уже упоминалось, что Достоевский сам проверил свои представления о религиозной позиции народа. Он осуществил это с помощью двух персонажей того романа, который ярче всех других его произведений раскрывает коварство разрушительного начала. Я говорю о «Бесах».



Вот своеобразная фигура Марии Лебядкиной – «хромой», из тех набросков Достоевского, к которым мы получили доступ благодаря сравнительно недавним публикациям, та больная телом и душой женщина, с которой связывает свою судьбу Ставрогин, личность не менее патологическая, в расчете на то, что противоестественность этой связи взбодрит чувства, в которых ему отказано.

Образ Марии Лебядкиной невероятно психологичен. Эта душевнобольная нередко пребывает в состоянии полного сумбура; в иные же моменты речи ее полны глубокого смысла и даже звучат пророчески. Кажется, она не замечает ничего вокруг – и в то же время ее суждения о людях свидетельствуют подчас о недюжинной наблюдательности. Это жалкое существо не знает страха; опустившийся брат мучит ее, она же чувствует себя княгиней, которая выше страха.

Жизнь Лебядкиной также находится во власти тех главных сил, о которых мы говорили выше. Это прежде всего – глубокая связь с природой. Связь эта вполне религиозна; но того перелома, о котором шла речь, – ее возрождения, принятого из воли Божией, здесь, как кажется, не происходит.

В Марии Лебядкиной есть нечто напоминающее зачарованных персонажей народных сказок. Их веселость вызывает грусть и может мгновенно смениться глубокой тоской. Невольно вспоминаются люди, замороженные русалками или троллями и потерявшие вследствие этого рассудок... Дух такого человека проникнут религиозным началом от природы, как в древних сказаниях – язычески, мифологически.

К Марии пришел Шатов; они разговаривают. Черпая подробности из своих фантазий, она рассказывает о том времени, которое она провела в монастыре:

«– А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: “Богородица что есть, как мнишь?” – “Великая мать, – отвечаю, – упование рода человеческого”. – “Так, – говорит, – Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам есть: а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, – говорит, – горести твоей больше не будет, таково, – говорит, – есть пророчество”. Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на мо-

литве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой – наша Острая гора, так и зову ее Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, – любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумраку, Шатушка» (Б. 116–117).

Это звучит как старая баллада, полная чудес и волшебства... Но Бог здесь – уже не тот живой Бог, лик Которого проглядывает во всех вещах, во всех определениях, в каждой судьбе и на пути к Которому – Его именем, послушанием Его Слову – действительность, оставаясь собой, преобразуется и обретает святость. Земля здесь – не тот символ плодородной, первозданной глубины и вместе с тем священной неприкосновенности Божественного распорядка, который присутствует, скажем, в словах Сони, угадавшей вину Раскольникова: «...Глаза ее, доселе полные слез, вдруг сверкнули. – Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении.) Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: “Я убил!” Тогда Бог опять тебе жизни пошлет» (Пр. 438). Здесь – нечто совсем другое: зияющая пропасть неискупленной природы и тоска, утягивающая в бездну.

Однако та творческая интуиция Достоевского, благодаря которой существенное раскрывается как бы само собой, уже одним выбором места и направления избирает для этой женщины Шатова в качестве единственного партнера, понимающего ее и пользующе-

гося ее симпатией. В нем живет то же, что и в Марии Лебядкиной, но здесь оно именуется не «природой», а «народом».

Роман рисует демоническое начало, представленное в оторвавшемся от Бога человеке, в лишенной корней цивилизации. Но он показывает и другую крайность, другого демона – обожествление природы и поклонение народу как идолу. Именно Ставрогин, не способный ни к вере, ни вообще к самоотдаче, пробуждает в полупсихопате Шатове веру в божественность народа.

Шатов подводит итоги: «Ни один народ... еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно он провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила непрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, “реки воды живой”, иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. “Искание Бога” – как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его Бог».

И дальше: «Низвожу Бога до атрибута народности? Напротив, народ возношу до Бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ – это тело Божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего Бога особого, а всех остальных на свете богов

исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дожидаться Бога истинного, и оставили миру Бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжении всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского Бога, и если сбросила наконец в бездну своего римского Бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества. Если великий народ не верует, что в нем одна истина (именно одна и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, единый из народов и может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особенных и великих богов. Единый народ «богоносец» – это русский народ» (Б. 200).

Невероятный ход мыслей – но до чего же современный!...

Здесь представлен уже не тот народ, о котором шла речь выше. Скорее здесь раскрывается та возможность демонического, которая таилась в органичной связи с народом. Религиозная же сила, именуемая здесь «Богом», – уже не Тот, о Котором также говорилось выше, не Живой Бог, Создатель и Господь, не Христос-Искупитель, дающий силы для преодоления человеком греховности, а нечто такое, что ведет к абсолютизации народа и – при соответствующих предпосылках – государства.

Тем сильнее впечатление от того, что мы читаем на следующей странице:

«– Извольте... – сурово посмотрел на него Николай Всеволодович, – я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?»

– Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую... – залепетал в исступлении Шатов.

– А в Бога? В Бога?

– Я... я буду веровать в Бога.

Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом» (Б. 201).

Перевод *В. Пирожковой*

### Примечания

<sup>1</sup> См. главу 3.

<sup>2</sup> Цитирую по полному собранию сочинений Достоевского, изданному в Мюнхене (**R.Piper & Co**): «Братья Карамазовы» (Б.К.) – по изданию 1921 года, «Бесы» (Б.) – по изданию 1922 года, «Преступление и наказание» (Пр.) и «Подросток» (П.) по изданию 1922 года, «Идиот» (Ид.) – по изданию 1920 года. Купюры в цитируемом тексте обозначены многоточием. Там, где многоточие принадлежит Достоевскому, я ввел две точки.

<sup>3</sup> Указанные Р.Гвардини номера страниц цитируемых произведений Достоевского заменены ссылками на соответствующие страницы русских изданий. При этом «Братья Карамазовы» цитируются по двухтомнику издательства «Художественная литература» (Л., 1970), «Преступление и наказание» – по десяти томному собранию сочинений Достоевского, выпущенному Государственным издательством художественной литературы (М., 1957), «Идиот», «Бесы» и «Подросток» – по полному собранию сочинений в 30-ти томах, изданному в Ленинграде («Наука», соответственно 1973–1975 гг.). – *Прим. перев.*